

Натиг Расулзаде

СПАСИ И ПОМИЛУЙ



Натиг Расулзаде Спаси и помилуй!

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4998571*

Аннотация

Пожилой знаменитый писатель, потерявший много лет назад сына-подростка, утонувшего в море, долгое время живет с непреходящей болью в душе. Но время идет, и боль от потери единственного сына переходит в его творчество, которым он старается заглушить свое горе, и творчество его делается пронзительным, глубоким, ярким, очень интересным и в то же время очень востребованным. Он с головой уходит в свои дела, в свою славу, увенчанный и обласканный властью предрежащими, он взлетает на вершину, становится знаменитостью и всеобщим любимцем. Но неожиданный вопрос жены: мог бы он променять свою славу, все свои достижения, богатство, комфорт на то, чтобы их сын сейчас был бы рядом с ними, заставляет его задуматься о самоубийстве.

Натиг Расулзаде

Спаси и помилуй!

«В четыре утра, за полчаса до смерти, Таривердиеву, человеку физически здоровому и исключительно мирному, приснилось, что с саблей наголо он бросается в конную атаку, и будто видит глаза спрятавшегося за деревом снайпера, чья пуля через секунду вонзится в его сердце. И почти тут же он ощутил эту пулю, разорвавшую сердце его, ощутил дикую боль в груди, которая не утихала, как понадеялась трусливая мгновенная мысль, а становилась шире, растекаясь по всему телу; проснулся в страхе, в холодном поту, обильно, потеряв контроль над собой, обмочил постель, хотел что-то крикнуть спящей рядом жене, но только тихо прохрипел, хватая себя холодеющими руками за горло, стараясь дышать, дышать, дышать, хватая ртом воздух, не в силах шевельнуться, пригвожденный ошеломляющей болью к постели, теряя силы с каждой минутой, с каждым судорожным вздохом... В половине пятого Таривердиева не стало».

Написав это – предположительно начало рассказа – он перечитал и аккуратно, тщательно, как дети вымарывают нежелательные для родительских глаз, неосторожные слова, стал закрашивать синей чернильной пастой написанное, потом остановился, просто смял бумагу, и отбросил от себя в конец огромного письменного стола. Долго смотрел, как смятая бе-

лоснежная, твердая бумага с тихим шорохом оживает, стремясь распрямиться, насколько возможно. За окнами – ночь, ночь, ночь... В этом районе города, престижном и спокойном, редко проезжали ночью машины, и омертвевшая улица лежала под окном отчужденно, отстраненно, так, будто его уже не было на свете. Он вздрогнул от этой мысли, постарался довести ее до конца, прочувствовать, и в какой-то мере удалось. Стало страшно – ведь почти невозможно представить мир без себя, это абсурд и хаос, а не мир, нечто абсолютно темное, неизведанное, а неизведанное, как правило, внушает страх. Нет, нет, он не будет думать о ненужных, бесполезных вещах, потому что надо поработать, ему нужно настроиться на работу, он давно ничего не писал. Он умел сосредоточиваться, сорокалетний писательский опыт приучил его сосредоточиваться и вызывать в себе желание работать, и когда в последние годы он вдруг среди житейских проблем и суеты вспоминал, что давно не писал, профессиональный опыт пригождался. В эту ночь как раз наступил один из таких моментов пробуждения писательской совести. Он старался поддержать свое звание профессионального писателя, но от того, что он об этом упорно, навязчиво думал, ничего не получалось, не просыпалось в душе нечто невыразимое словами, несказанное, счастливое; и скомканные с полужачеркнутыми текстами листы бумаги на столе и под столом множились, и работа не клеилась. Писатель Манафов по праву считался хорошим прозаиком и в свои шестьдесят че-

тыре года добился немало; литературные премии, почетные звания, десятки книг, фильмы по его сценариям, широкая популярность и прочее. Минутку...

Дверь кабинета неслышно открылась, но Манафов, чьи нервы были напряжены от длительных неудачных попыток произвести на свет нечто, услышал и раздраженно обернулся к жене, бледной тенью маячившей в темной щели приотворенной двери. При этом в поле зрения Манафова вошли солидно, тягуче застучав, огромные напольные часы, показывавшие четыре утра, как раз то время, когда герой несостоявшегося рассказа Манафова непонятно зачем ринулся в конную атаку. Часы были преподнесены писателю в день его юбилея, продолжавшегося в течение года в различных организациях и предприятиях республики. Манафов посмотрел на жену, как посмотрел, бы старый КГБэшник на человека, помочившегося на памятник Дзержинскому. Жена, предупреждая вполне резонный вопрос, сама первая сказала:

– Твой телефон звонит.

– В это время? – удивился и чуть смягчился Манафов.

Она пожала плечами – мол, не мое дело.

– Может из-за границы?... – тем не менее произнесла она.

– Я работаю. Я стараюсь поработать, – уже начиная раздражаться, сказал он. – Если хочешь, подними.

– Зачем? – не сразу ответила она. – У нас нет никого, за кого я могла бы волноваться, – и она тихо прикрыла за собой дверь.

Он посмотрел на плотно прикрытую дверь, отшвырнул ручку на стопку бумаги, повернулся в кресле и стал смотреть на улицу, с непогасшей в ушах последней фразой жены, пронизанной тлеющей, тлеющей болью.

Десять лет назад они потеряли сына, пятнадцатилетнего мальчика. Он поехал на пляж с друзьями, утонул в море. Манафову было тридцать девять, а жене его тридцать шесть, и они уже тринадцать лет, как были женаты, когда родился их первенец. Поздний ребенок, такой желанный...

Долгое время после этого Манафов не мог видеть моря, один вид Приморского бульвара вызывал в нем приступ необузданной ярости, не говоря уже о каких-то пляжах...

Манафов еще какое-то время сидел, тупо уставившись на плохо освещенную улицу, потом закурил и, взяв отброшенную ручку, стал вертеть ее в пальцах, время от времени нацеливаясь ею на белый лист бумаги, будто угрожая, что вот, мол, сейчас обременит ее какой-нибудь бессмертной фразой. Он курил, не ощущая никакого удовольствия, хотя после того, как жена прикрыла за собой дверь, очень захотелось курить. Несколько машинальных затяжек подряд и огрызок растаявшей сигареты был брошен умирать в большую громоздкую пепельницу; Манафов никогда не тушил сигарет о пепельницы, и тонкие хвостики дыма еще долго поднимались над окурками, похожие на сигнал бедствия – добейте меня, мне не хочется так жить, так полужить, так тлеть.

После смерти сына Манафов буквально оглушал себя ра-

ботой, он боялся оставаться без дела, когда одни и те же мысли убивали, лишали рассудка, но снова и снова вспоминал, как однажды четырехлетний сын его, сидя у него на коленях и вдруг запрокинув голову, так что Манафов видел перевернутым и оттого очень забавным его лицо, его яркие, серьезные, строго глядящие глаза, совершенно неожиданно спросил:

– Папа, а ты не умрешь?

Он, помнится, отвел взгляд, но тут же снова посмотрел на сына, чтобы тот не подумал, что отец уходит от ответа, увидел нестерпимо взрослый взгляд малыша, сердце его сжалось от любви, он понял, как много для мальчика зависит сейчас от его ответа и сказал твердо:

– Нет. Я не умру.

И малыш поверил ему, тут же опустил голову и продолжал смотреть мультики по телевизору. Мир его был сохранен, мир и спокойствие были спасены, потому что отец не мог обмануть. И это, к сожалению, оказалось правдой, подумал Манафов, он не обманул сына. Снова и снова эта давняя яркая картинка вставала перед взором и сводила с ума; он пробовал пить, но горе становилось острее после алкогольного забытья, схватывало за горло, выворачивало внутренности Манафова, выворачивало всего его, как перчатку, он чувствовал жуткий, нечеловеческий холод у себя внутри, чувствовал себя, опустошенным, омертвевшим и совершенно ненужным и нелепым в этой жизни. Тогда он старался из-

водить себя работой, достал старые черновики, отложенные на потом, на черный день, когда не будет новых идей, но черный день пришел внезапно, слишком рано и не оттуда, откуда его ждали. Он утонул в работе, и что бы он ни писал, это так или иначе было о сыне его. Вся боль, вся жгучая обида за несправедливость, с которой обошлась с ним судьба, выплеснулась на бумагу, отразилась в его произведениях, пронзительных, глубоких, как колодец, в который он упал, в котором задыхался, но из которого черпал воду горстями, и это было единственным, что связывало его с реальной действительностью. Тогда и начался его творческий взлет, окрепло и возмужало его ремесло, пройдя сквозь жаровню нестерпимого горя; но в то же время стала странной манера письма, мистикой отдавали многие произведения, и это как раз пришлось ко двору, оказалось кстати во всесторонне меняющемся обществе, стремящемся к десятилетиями запрещенному плоду; тогда и пришла к нему популярность, настоящая слава, будто Бог, отняв одно, решил ублажить его другим. А изменившееся лет пятнадцать назад время, к которому Манафов, как и многие его коллеги, не мог приспособиться (растерявшись, перестав зарабатывать привычным писательским трудом), вдруг нежно приняло его в свои объятия. Появились как из-под земли спонсоры, о которых так долго бесплодно мечталось, желавшие издавать и продавать книги Манафова, появились режиссеры, желавшие эти книги экранизировать и заказывавшие Манафову сценарии, таким об-

разом, дни его были забиты делами и работой. В этом смысле гораздо тяжелее было жене Манафова, у которой не было такой существенной отдушины, как художественное творчество, она оставалась одна, лицом к лицу со своим уродливым, необъятным горем, раздавившим ее полностью, отнявшим у нее все, чем было заполнена ее прежняя жизнь. Как раз в это время она отдалилась от него, была далека от него, как никогда, и ему казалось, что они не понимают друг друга, или понимают гораздо хуже, чем до случившейся с ними беды. Смерть сына стала невидимым рубежом, барьером, отделившим их, продолжавшим отделять и разводить в разные стороны, все дальше, дальше. Они уже давно не спали вместе, жена подолгу ненормально молчала. Боясь за ее психику, он стал приглашать гостей, близких родственников, друзей, просил их бывать чаще, они понимали зачем, видя состояние жены Манафова, и охотно шли ему навстречу, принимая приглашения, тем более, что им льстило быть частыми гостями популярного писателя. Был среди гостей и очень талантливый, но незаметный и неизвестный еще психиатр, как-то исподволь, не теряя времени, проводивший курс реабилитационных сеансов с больной. В результате ей стало лучше, но она, раньше веселая, бойкая, остроумная хохотушка, любившая рассказывать неприличные анекдоты и сама первая звонко смеявшаяся в финале, замкнулась в себе, стала неразговорчивой, нетерпимой к окружающим, нервной, и прошедшие десять лет со смерти сына мало что изменили в

ней. Манафов иногда, заработавшись, среди ночи вспоминал ее и шел к ней в спальню через всю их большую квартиру, садился на край кровати, зная, что она не спит, и молча сидел некоторое время. Она открывала глаза, смотрела на него, потом отводила взгляд, вперив его в потолок, или же вовсе глаз не открывала, когда как. Тихо, бархатно шли часы, какой-то большой, хорошо воспитанный будильник. В этом доме полно было часов, хотя никто не обращал на них внимания, а будильник... смешно говорить. Кого будить? Иногда она спала, чутко дремала и, проснувшись, схватывала его руку, когда он присаживался рядом. Так они сидели молча, рука в руке. О чем говорить? Общее у них теперь было только одно: смерть сына, а говорить об этом было слишком больно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.